

РОССИЯ И ЕВРОПА: К КОМПЛИМЕНТАРНОСТИ ЛОГИК СМЫСЛА В СВЕТЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ*

Понимание смысла согласно своей структуре нацелено на установление согласия между людьми, действующими в рамках традиционного самосознания.

Ю. Хабермас

Осуществляющееся ныне волей исторических судеб сближение России и единой Европы можно уподобить схождению на прозрачной границе двух социокультурных континентов, художественно всегда *со-существовавших* в режиме проблемного соседства. Однако речь сегодня идет уже не об очередной «притирке» социокультурных кодов, а об их размещении в общем экономическом, правовом, культурном и т. д. пространстве. Происходящие интегративные процессы в инициативном порядке дают богатейший материал для выявления и фиксации не только сходства, но и различия. Ясно, что складывающееся общеевропейское пространство не может не быть плюралистичным. Оно, кстати, таково уже давно. Но вхождение России в европейское сообщество порождает необходимость перехода к плюрализму иного уровня — плюрализму, основанному на взаимном толерантном отношении между различными макроцивилизационными парадигмами, отличающимися не столько внешними языковыми, бытовыми признаками, сколько типами рациональности, ментальности, идентичности и, наконец, *типами толерантности*.

Сложилась беспрецедентная ситуация обнаружения новых смысловых граней имеющего места феномена, а именно толерантного отношения между типами (техниками, институциями) толерантности. Само вышеуказанное сближение цивили-

* Статья выполнена в ходе реализации проекта «Толерантность как социокультурная технология и институт современной цивилизации». Поддержка данного проекта (грант № КИ 678–1–01) была осуществлена программой «Межрегиональные исследования в общественных науках» (МИОН).

заций становится эвристически плодотворным и в том плане, что расширяет представления об особенностях как европейской, так и российской толерантности в их синхронистическом *существовании*. Это, в свою очередь, позволяет заметным образом снизить абстрактность и повысить конкретность самого понятия толерантности, проанализировать его более радикальным образом. При этом не должно создаться впечатление о сугубо теоретической направленности подобного анализа: без четкого мировоззренческого представления о своих собственных «толерантных режимах» (термин М. Уолцера), с которыми идентифицирует себя тот или иной участник европейского сотрудничества, толерантное отношение между ними немыслимо. Рефлексия в этом случае не вредит, а идет на пользу, позволяя увидеть в том числе и преимущества российского или европейского типа толерантности, что, несомненно, работает на их взаимопризнание и взаимную легитимацию. Ведь усмотрение самого широкого диапазона преимуществ, начиная от самых наитривиальнейших и заканчивая весьма основательными, приумножает багаж доверия и нейтрализует привилегированную точку зрения.

Если же исходить из привилегированной, евроцентристской точки зрения, продолжающей существовать по инерции, но становящейся всего лишь следом прошлых межкультурных толерантных практик, то дела с толерантностью в России обстоят довольно-таки неплохо. О том, что толерантность *есть* и имеет место, красноречиво свидетельствует растущее многообразие ценностных и поведенческих установок, своего рода «пролиферации» российского общества. Толерантность становится и составной частью пакета демократических институтов. Тем не менее соприкосновение толерантности и российской действительности намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Возникшее многообразие — следствие не сознательно принятой идеологии толерантности, а исторически сложившейся ситуации кризисного социума с характерными для него ослаблением требовательности, дивергенцией различных нормативных систем, потерей традиционно-аскетической российской идентичности. И хотя Россия не «родина» классической рациональности, но и в ней нашел свое место развернувшийся вследствие истощения ресурсов адекватности складывающемуся

миропорядку кризис толерантности, построенной на принципах классического рационализма, перманентно грешащего центризмом. Кризис классической рациональности, проявившийся в постмодернистских феноменах — нарастании неопределенности, поливариативности, коллажности и т. д., — задействовал аналогичные процессы и в России, но с присущим только ей содержательным наполнением, архетипическим раскольниковством — стремлением утилитарно использовать государство и его институты либо вообще обходиться без них.

Совмещение в России сугубо российского и европейского ограничивает поле действия логики европейской толерантности. Логика толерантных отношений в России — последовательность развертывания, утверждения, закрепления в навыках, умениях отдельного человека и институций общества — инакова и восходит к ее цивилизационным константам — к *логике смысла*, т. е. последовательности познания мира и самоопределения в нем. Данная логика близка к логике мифа и отлична от логики сциентизированного *ratio*, уповающего не на чудесное преображение мира, а на его массивированное преобразование. Российская логика смысла задает и параметры толерантных технологий: терпимо все то, что работает на конечную метафизическую цель. При этом вопрос о техниках согласования прагматических интересов, достижении общности интересов даже не возникает — его заменяют мифологизирующие разговоры о дружбе и верности идее. Это краеугольный камень как для отношений внутри российского сообщества, так и для его отношений с внешним, в том числе с западным миром, отягощенных идущим еще со стародавних времен неприятием недружественного «латинства».

Одним из ярких событий на фоне кризиса классической рациональности является деидеологизация, расширяющая поле действия толерантности. Но опять же: расширение поля не означает расширения умений, навыков, действий в нем. Подтверждение тому — постоянное захлопывание дверей и возникновение барьеров в декларативно обозначенных как открытые отношения России и Европейского сообщества. Деидеологизация смягчает враждебность образа противостоящей стороны, сдвигает враждебность к дистанцированности, а дистанцированность — к партнерству (именно к партнерству, ибо на

дефицит дружбы жаловаться не приходится). Тем не менее «отмена» идеологического противостояния может спонтанно компенсироваться нарастанием образов, вносящих инерцию в налаживание сотрудничества, — возвращением, например, к образу европейцев, как «немцев», т. е. «немых», с трудом вовлекаемых в активные отношения, и к образу русских как странных и непонятных. На этом основании можно сказать, что деидеологизация — панацея от интолерантности, но не панацея от дистанцированного, прохладно-нейтрального отношения, препятствующего активному сотрудничеству.

Как видится, обезопасить побеги межцивилизационной толерантности можно и нужно посредством активнейшей работы взаимопонимания на самом глубоком уровне — уровне логик смысла, или парадигмальных моделей. И первый шаг в данном направлении сделан — произошел отказ не то чтобы от идеологий (так, Запад потеряет свою идентичность, если откажется от базовой реальности либеральной идеологии), а от того, чтобы человек был рабом и соучастником идеологических абстракций. Идеологии становятся тем, чем они должны быть, — горизонтом жизненного мира человека, иногда разновекторным и разноречивым: большая интенсивность либерализма на Западе (при несомненном консерватизме) и большая интенсивность консерватизма в России (при имеющемся либерализме).

Достижение комплиментарного плюрализма в границах Европейского сообщества предполагает не только «мирное сосуществование» различных логик смысла России и Европы, но и в качестве критерия зрелости и развитости межкультурной толерантности предполагает критический диалог (но ни в коем случае не диатрибическую тяжбу) национальных образов мира, национальных образов толерантности, выстроенных на основе разных механизмов понимания и предполагающих изоморфность в выстраивании метафорических и понятийных рядов. Толерантность в этом случае не следует представлять как невозможность обсуждения разногласий вследствие бессилия что-либо доказать противоположной стороне. Напротив, вопрос о том, чья толерантность «лучше» и эффективнее для конкретного культурного ландшафта, совершенно не снимается, а даже усиливается глобализацией. Однако осмысление этого возможно только в условиях взаимной толерантности, стано-

вающейся, помимо всего прочего, еще и эвристическим принципом взаимопонимания.

Разумеется, в России с толерантностью стало лучше: мы не найдем гонений на инакомыслие, и не потому, что инакомыслия нет, а потому, что семиотическая система как «тело» смысла уже в существующих исторических обстоятельствах более не рубрицируется на доминантный центр и маргинальную периферию. Толерентизация российского общества стала залогом возвышения взаимной терпимости между темпоральным Западом, с одной стороны, и пространственной Россией — с другой. Но что же позволяет беспримерная толерантность высветить и обнаружить? Она показывает, что в России толерантность коррелирует с мировоззренческой национальной семантикой. На наш взгляд, толерантность в России не столько технология изменения, прогрессивного развития, совмещения интересов, сколько технология адаптации к суровой природной и социально-политической среде. Это как раз то, что близко по смыслу к содержанию метафоры долготерпения. В этом контексте применение понятия «толерантность» к российской действительности — условно. Толерантность — идея либеральная, а в России либерализм, как известно, при всей своей мощнейшей теоретической изысканности, обладал беднейшей политической практикой. Тем не менее можно утверждать, что толерантность может существовать и на иных основаниях. Рациональный солидаризм — не единственное среди этих оснований. Российское «всемство» и российская восприимчивость основываются скорее всего на мистическом соучастии. В доказательство приведем такой факт. При всей крайней проблемности положения дел с толерантностью, когда в условиях кризисного общества отмечается «зашкаливание» всех критериев оптимального развития и превзойдение всех критических значений, за которыми стабильного социума уже нет, общественная ассоциативность в России все же существует. В свою очередь, толерантность, или долготерпение, именно в критических пунктах общественного существования российского человека показывает свой практический — стягивающий, негэнтропийный потенциал. В обществе, буквально разорванном поляризованными несовместимыми интересами, невидимым образом пробивается интегрирующее начало — та самая тайная геракли-

товская гармония, облепленная превратными формами. Российская же толерантность, стремясь обрести свои очертания на западный манер, всякий раз сталкивается с проблематизацией этого начинания: как базальтовая платформа, восстает из глубины истории противоречие между властвующими и подвластными и парализует складывание горизонтальных отношений гражданского общества с присущим последнему рациональным типом толерантности.

Российский человек за долгие годы странствия в поисках скрытой правды коренных разломов исторической платформы тем не менее адаптировался к ним, наполнив чашу долготерпения страдательностью и верой. Российский опыт уникален: при всем ощущении бессилия что-либо изменить — идентичность, явственность культурно-исторического лика; при всей бессубъектности, непредставленности субъекта долготерпения в сфере политических решений — сохранение внутренней свободы и ответственности — как у народа, так и у интеллигенции, освоившей технологию эзопового языка в качестве способа разрешения напряженнейшего в нравственном плане состояния двойного сознания. И когда в качестве резюме приходится констатировать то обстоятельство, что российская культура не стала и не является культурой толерантности в узком значении этого термина, возникает желание отвести в сторону все возможные закономерно возникающие ассоциации, пугающие западное разумение.

О российской ментальности можно и нужно говорить как о толерантной ментальности. Подняться до подобной общей оценки позволяет все то же «держание» в поле внимания российской, отнюдь не аристотелевской логики смысла — логики чудесного, допускающей противоречия и невидимым образом осуществляющей их снятие. Это прослеживается в бинарной многоликости России: святой — подпольной, обильной — бедной, перспективной — бесперспективной... Подобные выкладки позволяют избежать схематизма в восприятии того, что есть толерантность, и наполнить ее колоритом национальной профилированности. Некоторая непонятность, уход русской толерантности из претендующего на понятийную точность рефлексивного анализа вполне объяснимы. Русская ментальность, закодированная специфической логикой смысла, подобна ико-

не — открыта духовному (именно духовному, а не сугубо интеллектуальному) взору, но замкнута ключом обратной перспективы. Русская ментальность и идентичность усугубляют неочевидность толерантных технологий. Но, с другой стороны, по чьему это властному распоряжению всякий, кто соприкасается с иноприродной толерантностью, должен соприкасаться с ней как со своего рода очевидностью? Здесь приходит на ум образ, созданный Э. Голосовкером, — «засекреченный секрет», что аналогично «двойному кодированию» Ю. Лотмана. В нашем случае российская толерантность закодирована российской ментальностью, а последняя — логикой смысла, т. е. небезызвестным «русским духом». Хорошо известно, что как у каждого народа, так и в той или иной сфере профессиональной деятельности есть свои тайны и секреты, перед которыми пасует аналитический ум, но перед которыми экстатирует восторженный дух. Как бы мы, русские, ни утверждались в статусе европейцев и ни смотрели на себя западноевропейскими глазами, понять свою толерантность, исходя из «ихней» методологической почвы, мы не можем. И хотя освоение с нашей стороны нашей же толерантности и предполагает контекст Другого и *со-контекстуальность* толерантностей, всякое проведение аналогий постоянно будет прерываться красной лампочкой фиксируемого предела.

Действительно, на Западе толерантность — некая спасительная задвижка дистанцирования, которая всякий раз, как стеклянная дверь, захлопывается, когда возникает угроза вмешательства. В России такой задвижки в виде правовых технологий традиционно не сложилось, а потому российский человек бессилен перед волнами вмешательства и его аннигиляции как субъекта. Низкая правовая культура России, имеющая обыкновение снижаться и снижаться (даже в условиях «демократического порядка», когда заменившая сталинскую политическую юстицию современная уголовная юстиция направлена против малообеспеченных слоев населения), смещает толерантность в маргинальную с точки зрения права зону (самосуд, криминальные разборки и другие превратные способы восстановления справедливости). Толерантность не выстроена в России в жестких правовых формах, да это и понятно при всеобщей национальной редуцированности права к «правоте», т. е. к пре-

тендующей на истинность позиционности. Кстати говоря, толерантность не выстроена и в определенных формах внутрикультурного взаимодействия. Так, М. Бицилли приводил в свое время пример отсутствия контактов между столпами русской литературы, что являлось одним из компонентов трагедии русской культуры. Или вспомним, как И. Тургенев, говоря о творчестве Н. Некрасова, иронизировал, «что поэзия здесь и не ночевала». Тому, что для российского общества свойственна слабая способность к консенсусу, балансу — культурному, бытовому, политическому, — удивляться не приходится, но ее вполне можно объяснить, исходя все из той же логики смысла — логики отталкивания, идентификации своей позиции как альтернативной, совсем по-некрасовски: «всяк упирается, всяк на своем стоит». Но при всем при этом не следует забывать о переходе хода в логике смысла — об амбивалентном принятии и чужих мнений, теорий, ошибок, «правд», когда бронированная дверь чудесным образом исчезает. Именно исчезает, а не превращается в дверь стеклянную, что позволяет конституироваться такой особенностью российской толерантности, как стремление вникнуть, разобраться, понять (понять, а не объяснить со стороны) чужое. Это и есть ее сильная сторона — интуитивно-мистическое участие в жизни другого смысла, та синергия, культивировавшаяся мистическим богословием православия. И хотя сейчас мы живем в обществе, обусловленном имманентными (светскими) детерминантами, долготерпимость — мощнейшее и богатейшее историко-культурное ментальное наследие. Это незримо присутствующий след, привносящий с собой сильные традиционные поля, обеспечивающие условия протекания современных процессов. Долготерпимость отлична от нефункциональных старинных вещей-штукоев в духе Ж. Бодрийера, обладание которыми доставляет наслаждение. Это та консервативная платформа, о которую разбиваются модернизационные процессы, чреватые всякий раз всплеском нетерпимости.

Логика смысла, равно как и традиционная российская терпимость, — не отдельный компонент национального бытия, а ее непосредственная основа, не некая гипостазия, объясняющая все и вся в стиле «пост фактум», а конституирующая реальность, предшествующая и сопутствующая выживанию этноса на са-

мых различных и непредсказуемых выражах истории. Встреча России и Европы в едином толерантном порыве не может иметь облика «столкновения цивилизаций», по С. Хантингтону резко отличающихся своим культурным содержанием. Разумеется, Европа относится к сообществу с доминированием правовой институциональности, тогда как Россия — страна с ведущей приоритетностью морального начала. Но при всем при этом корень-то один — античная цивилизация. Сходны и контуры последующих метаморфоз. Эллы отличались удивительной открытостью и критическим перениманием воспринятого. Но потом и Россия, и Европа встали в позу учительства, диктуя каждая по-своему критерии и параметры общественно-исторического процесса. Толерантность поменяла регистр и обратилась в интолерантное навязывание моделей собственного бытия. И это, безусловно, момент европейской идентичности, подвергающийся сегодня, не без влияния антизападных настроений в мире, критическому изживанию. Европа поставлена (а точнее — поставила сама себя, опосредствующим образом) в условия обретения новой идентичности; то же происходит и с Россией — «другой Европой» (термин В. Г. Федотовой). И в высшей степени продуктивна позиция взаимообусловленной реидентификации, налагающей ограничения на дивергентность происходящих здесь процессов (к примеру, уменьшение присутствия государства — увеличение присутствия государства) и выковывающей ситуацию диалога логик смысла.

Для оживления диалога стоит вспомнить не только общие античные, но и христианские корни, ведь, по сути дела, различия России и Европы — это различия между вариациями или же различными степенями аутентичного (или, по крайней мере, претендующего на аутентичность) прочтения кроссцивилизационной христианской парадигмы, прописанной в разных сценариях макросцивилизационной парадигмальности. Очевидна бесспорность того, что налицо разные макропарадигмы, являющиеся и предельными формами осмысления мира, и предельными — трансцендентальными — формами самоустроения человека в нем. Вмешиваться в эти предельные формы с целью изменения невозможно: вред от стремления изменить их сводится к минимуму при разумном их взаимоустроении и взаимопроникновении.

Будучи основой идентичности конкретного сообщества, та или иная парадигма, выступающая как онтологический предел и непосредственное основание конфигурации отношения человека к миру в рамках сообщества, находится и в основании социокультурных изменений, и в основании техник толерантности. Различия между сообществами касаются не внешних признаков, а характера толерантности на уровне парадигмального предела, в границах которого обособляются деятели и их действия. Парадигмальный анализ западно-европейского сообщества становится ключом к историко-онтологической основе, на которой оно основано. И это не только идея демократии и свободы, но еще и определенная расстановка онтологических акцентов.

В соответствии с российской парадигмой для того, чтобы преображать (а не преобразовывать) мир и познавать его, следует вначале преобразить, изменить себя. Не преобразивший себя человек не в праве преображать мир. Не от того ли доходящие до болезни рефлексивные самокопания и самовспыхивания российского человека? И когда приходится отвечать на вопрос о том, почему его окружающее бытие, начиная от политического, экономического и заканчивая бытовым, не устроено, ответ недвусмысленно кричит как маневренный паравоз: причина — в еще-не-преображенности человека. Это порождает отчаяние, чудесно превращающееся в надежду и веру в грядущее преобразование, что предопределяет неоднозначные ориентиры внутренней и внешней деятельности, на горизонте которой всегда маячит богоискательство и вырисовывается жажда обожения. Такова смысловая основа русского долготерпения, супранатуралистическая по самой своей интенциональности. На ее основе возможно не рациональное партнерство, а литургическое *со-трудничество*. И какие бы деформации ни претерпевала подобная парадигма толерантности, она легко прочитываема даже в нечто неузнаваемом — в устремлениях подпольного микрокосма и уродующих лик России активистских деяниях новоявленных демократов.

Смысловые же границы западноевропейской идентичности (собранной и сконцентрированной ментальности) восходят к другой культурно-метафизической аксиоматике, задавая и другие мотивы для объединения в сообщество. Артикулированные

Дж. Локком, они выглядят следующим образом: автономный и осознающий свою свободу человек единственное, на что может согласиться, так это на «соглашение с другими людьми об объединении в сообщество для того, чтобы удобно, благополучно и мирно совместно жить, спокойно пользуясь своей собственностью и находясь в большей безопасности, чем кто-либо не являющийся членом общества». В европейской культуре акцент также сделан на человеке, но уже не на стороне приоритетных стратегий духовного самосовершенствования, а на активно-предпринимательской деятельности, свойственной Одиссею хитроумному. Человек-субъект, модернизирующий бытие в соответствии с логикой превзойдения всего мифического, также изменяется, но уже по мере и вследствие внесения изменений в бытие. Становясь в позицию знаменателя бытия, человек выбрал при этом парадигму покорения, компенсированную в рамках социального существования гармонизацией отношений между людьми посредством общественного договора. В результате намечился парадокс: интолерантное отношение к природе и другим — неевропейским — человеческим сообществам при внутренних толерантных отношениях в социуме. В принципе, это нормально, ибо всякая толерантность ограничена и условна. В европейском проекте ввиду агонально-конкурентного контекста «войны всех против всех» она даже спасительна. Логика осмысления через призму интересов человека тем не менее не может рассматриваться как единственная, поскольку здесь отправным моментом берется «внешний человек», чья свобода обеспечивается собственностью. У такого человека есть то, о безопасности чего приходится постоянно думать в виде выстраивания сложнейших механизмов и технологий предотвращения вмешательства и отчуждения.

Европейский тип толерантности работает в качестве технологии сохранения собственности как основы свободы, а значит, и статуса субъектности. Само собой разумеется, что если субъектом толерантности становится «внутренний человек», упорствующий в духовном «успевании», как в России, то механизмы и методы вписывания в сообщество с присущими ему регламентирующими деятельность институтами инаковы: здесь ценно само сообщество, а не его возможные утилитарные преломления. Дистанцирование от государства на Западе

(гражданская автономия) и объединение, синкретизм государства, общества и человека в России (державность) — таковы фундаментальные обстоятельства, определяющие облик человека, характер его деятельности и сущность его терпимости. В Европе на первом плане — претерпевание людьми друг друга, в России — претерпевание людьми друг друга на фоне претерпевания издержек функционирования государственности. Таким образом разновеликое отношение к государственности в последнем случае — консервативная ось всех остальных векторов терпимости. На данной оси в ходе либеральной модернизации стало возникать напряжение, разразившееся «удельностью» и маргинальными идентификациями собственных интересов человека. Наметились новая идентичность — соотношение человека с самим собой. В этом легко угадывается своеволие и произвол, осложняющие укрепление толерантности в обществе. Государственный нигилизм, выражающийся в стремлении жить вне государства, как видится, не разыгрывание европейских сцен «войны всех против всех» с финалом благополучного общественного договора, а возвращение к все тому же расколу, резко сужающему поле действия толерантности. Не этой ли возможной конвульсии толерантности и побаивается Запад, ощущающий плутоватость российского человека, например, в лице нецивилизованного и социально неориентированного бизнеса?

Поскольку сегодня речь заходит о комплиментарности внутриевропейского пространства, включающего Россию и учитывающего ее присутствие, необходимо или, по крайней мере, желательно определенное внутреннее изменение участников диалога. Что касается России, то вполне очевидно, что долготерпение должно дополняться толерантностью, без чего невозможно реальное высвобождение ниш для действительных ростков демократии и плюрализма. Партнерство в рамках российского политического и экономического пространства, соблюдение договоров, сближение позиций, самоструктурирование взаимной ответственностью — наиважнейшие условия внутренней идентичности, сопринадлежности Европе. Стоит подумать и о большей опосредованности и институциональной обеспеченности толерантности, ибо высокая культура толерантности предполагает закрепление навыков и умений толерантного

«обхождения» и предусматривает деятельность особых организаций (фирм), конструирующих социальные отношения, но далеких от того, чтобы делать это в пропагандистско-манипулятивном духе. Для России же пока характерна малая степень институционализации толерантных технологий. Все отдано на откуп мифической естественности протекания — «как уж выйдет», «как уж получится» — или на откуп «черного пиара». Российская толерантность существует в явном виде спорадически и порциально, что называется, от «природы», а не от «искусства». Выявленное и прекрасно описанное А. Вежбицкой русское «авось-отношение», с одной стороны, препятствует рационализации толерантных отношений, но с другой — содержит весьма ценное свободно-игровое начало, предполагающее субъекта.

Как таковая бессубъектная модель толерантности вряд ли возможна, и здесь главное — сохранить имеющуюся субъектность (на Западе — внешнего, в России — внутреннего человека) со свойственными ей критериями зрелости (на Западе — онтологическая самостоятельность, разумность, обладание вещной собственностью, в России — онтологическая синергичность и соборность, богатство в виде человеческих качеств, «духовное успевание») при некоторой дополнительной и взаиморазделенности.

Комплиментарность смысловых моделей и далее — типов толерантности призвана продуцировать межкультурную парадигму как основу решения проблемы обновления субъекта современной культуры, об исчезновении которого сегодня говорится и пишется, а также привести к созданию более тонких технологий взаимопрочтения разных культурных субъектов, расширяющих и открывающих через проигрывание себя в позиции Другого свою традиционную идентичность. Только так толерантность способна стать эффективным алгоритмом искомой ныне стратегии оптимальной субъективации человека.